

Julia Kissina

Белка

От американской армии, покинувшей Германию в 1945 году осталось 3547 чучел маленьких серых животных. Это – белка! Зачем понадобилось американскому руководству снабжать своих солдат чучелами белок? Непонятно. До сих пор. Может быть это были амулеты, защищавшие Зэга и Льюиса от вражеских пуль? Кто знает? Может, они до сих пор хранят души солдат среди своих отсыревших опилок.

Чучела белок мы нашли в подвале одного Рейнского замка, хозяин которого содержал здание в отличном состоянии, провел туда горячую воду и сдавал комнаты итальянским и швейцарским туристам. Мы попали туда случайно, вместе с вонючей группой из восточного блока. Конечно за нас платила какая-то чешская строительная фирма.

В четверг ночью мы спустились в подвал в поисках, безусловно, привидений. Подвал был заполнен аккуратно стоящими ящиками черного пива, рейнскими винами и черными бутылями Шато-Марго. Первое, на что наступил латыш Каспарс, был тяжелый деревянный пропеллер от американского вертолета. На одной из лопастей была выгравирована ничего не означавшая надпись на русском языке "Отдамся тебе, Балтика" С касперами, с тяжелыми чашками магнолиевых деревьев была фотография на пляже какого-то курорта. Там загорал такой лысый парень в купальном костюме. Его лицо напоминало скорее героя любовника из пятидесятых. Фотография валялась на полу между практичным, трех отделений, кожаным портфелем и старым американским аппаратом для массажа спины, так и выпячивавшим свои кольчатые шланги.

Белки стояли низу, в самом глубоком келлере аккуратно пронумерованные желтыми листками. Каспарс просто осталенел. Конечно, мы сразу оттуда вылетели пулей и не могли уснуть всю ночь, лежа рядом и уставив параллельные невидимые твердые взгляды в слегка брезживший потолок. О чём мы думали? Мы думали о белках. Об американской армии и об бейсбольных мячах, лежащих в углу.

Наши одинаковые белые в полоски носки и выстиранные кроссовки стояли под кроватью так, как будто ночь обещала нам только стерильность, серое небо, бесчувственность. И когда мы, все-таки, встретились

дрожащими сухими губами и ощутили в зубах вкус лавровых цветов, только тогда Каспарс назвал мне имя этой Мелони. Мелони, которая была охотницей и застрелила белку из пистолета в 1956 году в центральном парке. Мелони была убита полицейским, и потом ее сестра, рыжегрудая девка с вороватыми глазами Шилди Брей, сшиowała шкурку этой белки, чтобы отдать чучело жениху Мелони, в память о ней.

Чучело белки долго стояло на буфете с пожелтевшими салфетками и мех на ней двигался, когда тетушки Робертс открывали окно. Жених Мелони, по истечении некоторого времени отправился добровольцем во Вьетнам. Он погиб в окопе под Да-н-Ангом, поправляя на чучеле Мелони жемчуговый пушистый хвостик... Жениха звали Томас Кропивницки. Хозяина нашего замка зовут так же, теперь он работает на американской военной базе в Оберурзеле под Франкфуртом.

Белая

Она смуглая лежала в гробу литературного музея и не пахла. Экскурсовод быстро сострясла каблуками люстру и вся экскурсия, минуя мемориальный торшер пододвинулась к гробу и благоговейно окружила его.

- А тут, - сказала звонким голосом литературоведша, - вы видите тело жены Андрея Белого - Анны Сергеевны Тургеневой. Анна Сергеевна Тургенева умерла в 1923 году в Германии, около Мюнхена и ее тело после войны было передано в дар Советской Власти немецким правительством в согласовании с планам Маршалла.....

Рабочие заерзали и вспотели. Всем хотелось рассмотреть мумию поближе.

- А как же такая мумия сохранилась?

- В мире есть не много таких мумий, - сказала сотрудница, - мумия Пирогова, Мао Дзе Дуна и других, поэтому мы закрываем окна, чтоб не нарушить микроклиматические условия. Вон, в углу стоит регулятор влажности, серый такой.

Рабочие крутили головами, жадно смотрели в голову мумии и потели. Воздух увлажнялся и раскалялся.

- Жарковато мне, - сказал кто-то, - как будто печка внутри горит.

- В нашем музее работает группа научных сотрудников специально прикрепленных к телу, - сказала сотрудница и вытерла испарину, выступившую на лбу. - Специальная влажность и точная температура не позволяет сохнуть или увлажняться не только внешним эпилитивным покровам и внутренним органам, но и книгам, хранящимся в библиотеке. Температура не должна ни на градус превышать норму.

Особенно рабочему Царюку стало жарко, оттого что много пива выпил, да еще и вид покойницы сводил его с ума. Уже долго не было у него женщин и обе они - экскурсоводша и мумия действовали на его железы. Но экскурсоводша была суха в плечах, а мумия лежала ласково. Он снял фуражку, вытер лоб рукавом.

- Она дернула глазами! - громко и испуганно шепнул кто-то из посетителей и всех бросило в холод. Изнутри гроб стал запотевать. Действительно, мумия Анны Тургеневой медленно открыла бесцветные глаза и мутным взглядом обвела экскурсантов. Толпа приподвинулась. У Царюка рубашка прилипла к спине. Работница музея вскрикнула, невольно засмеялась, отпрянула в сторону и, пробившись через толпу, побежала к лестнице. Серые губы мумии что-то неясно промычали, что отдалось эхом внутри стеклянного гроба и мужики приподвинулись еще плотнее. Двое из них переглянулись. Кто-то громко сморкнулся. Двое ловко стали сворачивать стеклянную крышку.

- Доктора бы ей быстро, - сказала коричневая старушка, в страхе глядящая на грудь усопшей.

- Не надо мне доктора, спасибо - слабо сказала мумия и приподняла голову. - Помогите мне встать. Два учтивых литературных студента (один с зубами веером) приподняли ее за локти и Анна Сергеевна села на незамятый бархат, оставив после себя мокрый отпечаток. На спине ее густо росли сырье разводы плесени, полусгнившая ткань ее серого муарового пальто, так хорошо сохранившегося спереди, сзади оставляла желать лучшего. Кто-то уже нес стакан воды.

- Влажность нарушилась.
- Смотри, сам взопрел-то.
- Раритет воскрес, свидетельница времени, - шептались в толпе.

Анна Сергеевна отпила, поискала кого-то в толпе, прочно остановила посиневшие темные глаза на мне и сказала, слабо мне улыбнувшись

- Ах, Юленька, ну наконец-то, а я так долго вас ждала! Она протянула ко мне высохшую руку и коснувшись моего локтя вызвала во мне содрогание и отвращение. Все же я, расслабила лицо, улыбнулась и сказала,

- Добрый день, Анна Сергеевна, рада познакомиться. - Я с гадливостью легкожаждали пожала ее неплотную руку и тут вся толпа по очереди стала называть свои имена и, благоговейно и боязно глядя на нее, тянуть к ней дрожащие руки.

- Мне еще тяжело ходить - сказала мумия, ведь я еще не оправилась после болезни.

- А что же с вами? - спросил Царюк и экономно вздохнул.
- Доктор бестолковый, дал мне пиктина. А я еще вечером хлеб с пальмином намазывала. Старый был пальмин. Вот оно и вышло.

- Что вышло? - спросил Царюк.
- Да чувствую я себя как дура последняя. Вся как во сне. Как во сне, - она опять подняла на меня сизые глаза - А что вы к нам так давно не заходили? Случилось что?

- Нет, Слава Богу, все неизменно - сказала я умирающим голосом.
- А как с вашим позвоночником?
- Да, спасибо, - ничего, получше, - говорила я как автомат и все перед глазами плыло.

Толпа отодвигалась. Ужас пылал на лицах. Только Царюк смело остался и все пытался войти в сектор зрения Анны Сергеевны и влезть в разговор. Краем глаза видела я, что экскурсоводша стоит у входа с директором и крепко держит его ногтями. Анна Сергеевна опустила одну ногу на паркет и пальцы ее в старомодных туфлях расклеились и расплющились с хрясем. Царюк поспешил ее поддержать под локоть и она окинула его благодарным взглядом. Толпа раздвинулась. Анна Сергеевна пошла вперед,

покачиваясь, как под хмелем, села за мемориальный стол и оцепенела от попытки войти в кресло. Царюк раз волновался несносно и запах драгоценным мускусом. Анна Сергеевна слабо отреагировала. Краем глаза я видела, как по одному посетителю шли за дверь, стараясь ступать как можно тише. Вскоре в зале от экскурсантов остались только я и Царюк. Я знала его уже два года - я у них на заводе в секретариате работала. Царюк был дурак. Поэтому он и не уходил.

Анна Сергеевна медленно встала и протянула к нему руку. Из руки ее медленно выполз зеленый луч и вонзился рабочему в лицо. Царюк прямо окаменел и открыл рот. Анна Сергеевна улыбнулась. Она рассекла лучом его голову на две половины и что-то тяжело хрустнуло у него в шее. Я захмурила глаза и услышала звук упавшего тела, ожидая худшего.

- А как ваши родители? - услышала я вновь ласковый голос Анны Сергеевны.

Я старалась не смотреть на тело убитого рабочего.

- Хорошо, спасибо.

- Пойдемте отсюда, Юленька, - сказала Анна Сергеевна, подошла, взяла меня за руку, - вам нечего на пакость смотреть. - Я повиновалась.

- Какая гадость - этот литературный музей, - сказала Анна Сергеевна и сморчила нос. Мы спустились по лестнице. Меня тошило. Внизу уже не было ни души. В фойе мне стало совсем плохо.

- Что-то вы совсем бледненькая, - сказала Анна Сергеевна и я ни с того ни с сего стала блевать ей на платье.

- Ой, Юленька, что ж это. Не беспокойтесь. Неприятно, но можно выстирать. Я знаю - проклятый пальмин вчерашний - гадость какая.

Я еще раз блеванула на ковер.

- Туалеты тут нечистые, - сказала иностранинка.

- П-пошла ты в ж-жопу, - сказала я, не на шутку заикаясь и уставилась на нее с нескрываемым отвращением.

Она вытянула руку вперед и мне в глаз вонзился зеленый луч. Я отскочила. Анна Сергеевна с откуда ни возмись возникшей прытью стала бегать за мной по фойе. Я увиливала как в триллере. Анна Сергеевна росла на глазах. И тут я скользнула в библиотеку. Она за мной. Там были книги наших любимых отечественных писателей, но мне ничего не оставалось делать, как швырять их ей в башку. В ход пошли твердые коричневые тома Гоголя. И тут случилось чудо: да, меня спасло чудо. Огромная библиотечная полка с нашей классикой полетела прямо на нее. Я видела как корешки книг разрывали ее платье и вонзались в серую муть неизвестных белковых соединений. Последнее, что она успела прошипеть было проклятье литературы. Когда она дернулась в последний раз и щипящая жидкость вылилась

из оболочки, я увидела на дне ее желудка маленькую коробочку и рухнула без чувств.

На следующий день меня посетили в больнице следователь и директор музея.

- Там был микрофильм со списком комиксов. Она немецкая шпионка была, а комиксы они хотели нам навязать. Нам-то, самому читающему народу, как говоривал писатель Герберт Уэллс, - сказал следователь и крепко пожал мне руку, - а у нас для вас добрый подарок, давайте, Игорь Дмитриевич.

Игорь Дмитриевич, директор литературного музея улыбчиво замялся и вытащил из портфеля книгу. На синей коленкоровой обложке белыми буквами было написано "Андрей Белый, Баллады."

- С автографом. Ну и повезло же вам - настоящий раритет, - сказал следователь и смущенно подмигнул.

Счастливый парень живет как в раю

Настоящие американские девушки с резиновыми попками с утра до вечера снимаются в кино и ужираются кетчупом. Эти безгенитальные девушки спят на белье цвета американского флага и совершают ежедневно самый длинный в мире джокинг, от которого ноги растут как бамбук. Настоящие молодые американки - все блондинки и умницы. Они не умрут от рака раньше времени. Даже если с утра до вечера эти девушки пудрятся кокайном и чистят зубы нашательем - на них действует это не больше, чем одноразовый химический сэндвич действует на профессора из Цюриха - пропоносит и перестанет. Такие девушки могут взглядом остановить американский лайнер и сдуть траекторию ядерной боеголовки. По утрам эти девушки учат наизусть цитаты из Эммерсона, чтобы в два часа дня поймать на этот крючок "правильных" мудил. А может быть, на этот счет, я заблуждаюсь. Эти безмозглые девушки часто и бессознательно улыбаются, потому что хотят добра. Они готовы к добру и творят его направо и налево, хотя бы тем, что бессознательно рекламируют все это дермо, которое валяется на полках супермаркетов. Конечно, я знаю об этих девушках из телевизора, потому что мир мне известен из телевизора.

Все, что я вижу по телевизору - повторяется во сне.

- Ты слишком часто смотришь телевизор, - говорит мне мой теперешний санитар.

Да, я смотрю телевизор с утра до вечера. Без ящика можно было бы сразу сдохнуть. А чем еще заниматься целый день, если у тебя нет тела, а есть только голова. Я инвалид, как и все, кто живут в нашей государственной квартире. Когда-то у меня было все, и даже больше того, и я, надо сказать, был одним из несчастнейших людей. Я бегал по улицам как бесноватый осел в поисках настоящей жизни. Меня останавливали на всех границах. Два раза меня кастрировали мексиканские гаучо - и безуспешно. В результате решили использовать мою потрясающую энергию на пользу какой-то мелкой наживы: я начал выращивать гвоздики и тюльпаны и дело тут пошло, но гвоздики интересовали меня еще меньше, чем тюльпаны и однажды в нервном приступе я стал топтать гектары. С меня решили снять штраф и мне оставалось окунуться в кислоту.

Я поменял оставшиеся букеты на много литров кислоты и плонул туда. Потом я влез в цинковую ванну и немедленно растворился. И безрезуль-татно: голова моя не реагировала и я от этого кричал как Папа Римский. Так я стал инвалидом. После этого я потерял всякий интерес к жизни.

Мне страшно скучно. Мои соседи-инвалиды - дермо. Мой бывший санитар - полный ублюдок и обычатель. Обычно он жил своей маленькой жизнью и повсюду таскал меня с собой на моем индивидуальном стуле. И

надо же, эта сволочь при мне испражнялась. Ладно бы, он делал перерывы. Нет. Он разноцветно испражнялся с утра до вечера. Я делал ему замечание - ему было все-равно. И потом - этот подонок был настоящий сексуальный маньяк. Конечно тогда он еще не дошел до того, чтобы употребить мой рот, хотя ему очень нравилось об этом говорить. А мне было неприятно - к тому же зимой губы пересыхают, трескаются. Он покупал по дешевке азиатских девушек и использовал их прямо в ботаническом саду. Меня, разумеется, нисколько не стеснялся. Однажды я стал орать. Ночью. Прямо на улице. Из моего индивидуального стула. Прибежала чума людей и они увидели эту заводную жопу, которая двигалась как жестяной зверек в ярмарочном тире. Справедливо девушка-полицейская выстрелила ему в жопу твердой рукой и дала команду сменить мне санитара.

Теперь мне не нужны такие стрессы. Я старею и становлюсь все апатичней. Теперь я никогда не заставляю вызывать меня из дома. А зачем же мне смотреть на людей, если все они одинаковые. Ведь и ежу понятно, что по улицам ходят только мужчины и женщины. Мужчины есть пяти разновидностей: прыщавые подростки, страховые агенты, похотливые ученые и бездомные алкоголики. И все они как один обожают девушек из телевизора. Я думаю, что им тоже снятся девушки из телевизора, те же самые живые блондинки в желтых теннисках.

Иногда мне кажется, что девушки из телевизора толпятся вокруг моей головы и поют как сирены. Поскольку, у меня есть только голова, мой инструмент - мысль и я им активно пользуюсь. Мысленно я их расчленяю - этих милых спортсменочек. Им больно, солнышкам, а они все-таки улыбаются. Я расчленяю их мысленно отличным новеньkim кухонным ножем, производства Крупп, а они улыбаются, потому что жизнь - это радость, и смерть это радость. Все можно превратить в радость - если захочет. А самая большая радость - это приобретение нового кухонного инструмента этой отличной популярной фирмы Крупп. После того, как я мысленно расчленяю такую малютку, одетую с ног до головы в Риббок, я, конечно, кладу ее кости в стиральную машину. Голову тоже. Стиральная машина "Сименс" при помощи порошечка стирального, известной нам фирмы, отмывает даже пятна крови. И вот после стирки в мягкой воде (мысленной) она возвращается ко мне, беляночка, красавица и улыбается.

Главное - поставить на легкий режим и не переборщить с температурой. Хватит тридцати градусов - не простудится. При температуре тела ничего вам не сбежится, ни свариться - все нормально, и ей приятно. Поэтому она и улыбается, ведь ей тоже известно, что стиральный порошечек фирмы "Персиль" не вызывает разражения и аллергии.

Все эти мерзости я делаю мысленно с утра до вечера, потому что можно сдохнуть от скуки. Вечером приходит мой сосед Вернер - мрачный тип, и

начинает тягостно молчать. Он тоже инвалид. Так мы и живем вместе с некоторыми другими инвалидами. В 1991 году он сильно разбился на вертолете и от него отстались только ноги. Поначалу они страшно дрожали, но наш терапевт на него наорал. Он всегда орет, когда у него что-то не получается. Но тут фригвенции совпали. Постепенно Вернер реабилитировался, приобрел новую профессию: теперь он учит детей в начальной школе играть в футбол. Для начальной школы - это нормально. Мой сосед - Ноги приходит как всегда в пять и молча усаживается перед телевизором. Конечно мгновенно засыпает от усталости - тут набегаешься с ребятней за целый день. Поэтому я его не беспокою. Но поговорить-то мне, понятно, не с кем: на улице - только мужчины и женщины, поэтому я иногда болтаю со своим санитаром. Он купил мне швейную машинку и учит меня шить. Этот парень умеет потрясающе шить. Иногда мне снится про этих девушек, как будто я, после того как они просохли, начинаю на этой замечательной зингеровке сшивать их конечности. Оверлок как поплавок ходит туда-сюда и очень хорошо помогает, чтобы спрятать никому не нужные жилы, так уродующие внешний вид всякой милой девушки.

Днем иногда, я прошу санитара - ты пошел, браток, что-нибудь, а я посмотрю, потому что, честно говоря, телевизор частенько надоедает. А вот высококачественных девушек все равно недостает. Он шьет, мой санитар Рони, а я смотрю. Мой Рони умеет делать только прямые швы и сшивать два куска материи. Но это он делает замечательно. Рони может сшить самую длинную в мире ковровую дорожку. Мы решили, что когда дорожка достигнет семикилометровой длины - мы вызовем телевидение и Рони прославится, а я смогу рассказать всему миру, как этот честный трудолюбивый парень с академической степенью и, такое-прочее, сшил самую длинную в мире ковровую дорожку и посвятил ее чему-нибудь социально-полезному. Конечно, такой парень не станет рекламировать текстиль - дешевые дела. Такой парень как Рони сможет использовать эту телевизионную программу, чтобы ввернуть словцо, скажем, в защиту нас, - инвалидов. И когда все эти ублюдки прибегут в воскресенье к своему "Сони", чтобы полюбоваться самой длинной в мире ковровой дорожкой, этот сирота Рони засунет свою добродушную ирландскую физиономию в телек и, показав всем свой несосанный средний палец вверх - скажет им правду об этих подонках врачах, которые ускоряют производство сраных инвалидов для того чтобы вести их говядину статистику. Конечно, на закуску появятся все эти бабы из телевизора. Эти чудовищные, по-мольеровски манерные гротескные пезды и начнут пищать своими неприлично намазанными ртами какую-нибудь хуйню в защиту шоколада "Нестли" или с преувеличенным наслаждением нюхать этот говяжного цвета эспрессо, который глотают все эти страховые подонки по утрам. В будние дни, после девяти вечера,

когда отупевшие от беспрерывного труда мужчины, они же страховые небдоноски, притащаются домой и тоже присоединяются к государственному и разумно устроенному счастью при помощи ящика, девушки из телевизора начнут капризничать в мыльных операх, постоянно норовя, якобы понарушку, показать всем свои надувные силиконовые сиськи. Ну известно, что происходит дальше. Все эти примерные очкарики, сменив костюм фирмы "Босс" на спортивный костюм, начинают кончать в экран и, не дождавшись очередной порнухи, чистят зубы пятиминутным способом, снимают свои неаполитанские "Роллексы" и отваливаются спать.

Я же смотрю почти всю программу до конца, включаяочные фильмы. Мой Рони спокойно посапывает в кресле, иногда прерывая храп невнятным бормотанием, а мои соседи - руки и ноги, оставшиеся от людей тоже спокойно спят - каждый в своей комнате. Утром они все отправляются работать: все, кроме меня, потому что мне работать нечем. Может быть я бы и мог сгодиться государству энергией своей мысли - но кажется до этого они еще не доперли. Вообще, люди активны и человечны. Ведь это протестантская община подарила мне корейский телевизор, когда они узнали, что у меня еще есть, чем смотреть и слушать. И по утрам я засыпаю с удовлетворением от просмотренного фильма, если, конечно, там были правильные девушки. И в принципе, я счастлив.

Студент Корсаков

Великолепный, вертлявый, римский, с плохо продуманным сюжетом день - ни кто иной как наш приятель студент Корсаков. Он умница в воспоминаниях современников и почетный диагностик любого рода геральдики. С другой стороны - он человек голодный и без адреса, и следовательно, спешит, что не мешает ему куражиться над вечностью. Корсаков спешит своею гусиною походкой, вытягивая голову вперед так, как будто собственное дыхание - и есть единственная его пища. Иногда он шарахается от невидимой лошади, несущейся на него во всю прыть и стряхивает потом небрежно с пола пиджака призрачную грязь от копыт. Однако, сегодня светит солнце, а лошадей давно променяли на автомобили. Поскольку Корсаков живет в мире призраков, автомобили вызывают у него неподдельные рвотные позывы. Очевидно они не упоминаются у Кавальканти.

Через толпу он бросается к первому попавшемуся подъезду и рассеянно ищет там имя Люцифера. Его сокурсник Люцифер не самозванец и не прелюбодеи: имя - это единственное, что осталось ему в наследство от истории страны и от четырнадцатого столетия. Люцифер носит его с преувеличным страданием, но подпись его разборчива. Корсаков любит его за некоторые оказанные им любезности и, в том числе, за великодушно предоставленный почтовый ящик.

Пока Корсаков самоотверженно ковыряется в зонках, приезжий вор столь же самоотверженно тащит у него из кармана априори пустой кошелек. Но шум заставляет обоих отвлечься: крикливая предвыборная процесия, состоит из вольнонаемых проповедниц. Пропагандистки энергичны и вертлявы. Они заискивают. Они столь же любопытны к зевакам, как и зеваки - к ним. Любопытство - бич Рима, преобладает над всякой деятельностью. И вор, и Корсаков, надо сказать, развязы. И любопытством они страдают не меньше чем папа - мигреню. Через минуту оба вертят в руках золотистый портрет кандидата кисти Лоренцо Монако. Кандидат всегда один и тот же, его лицо можно выбрать по вкусу, но обстоятельства всегда выдают: неизменные уроки Катехизиса.

Бюллетень примиряет. Чудотворная дверь, так и нетронутая зонком, сама поддается и оба заходят в подъезд.

Вор мялся у лифта, под защитой грязной выщетшей стены, в которой он был лишь фрагментом уютного и безвкусного орнамента. Он был уверен в своей ниндзя и Корсаков, следя его уверенности, не замечал, что человек у лифта совсем взмок. По нарочитой оплошности он даже отвернулся к нему слабой твидовой спиной, вызывающе демонстрируя свою слепоту и обезоруживающую наивность. Корсаков близоруко наклонился к

почтовым ящикам, пытаясь разглядеть на одном из них имя Лючифера. Надписи были полустерты и Корсаков воспользовался органами слуха. В ящиках кто-то попискивал и скребся. Вероятно ошалевший почтовый голубь, посланный сюда для него как обычно из Неаполя девушкой с прелестными инициалами "Л.Г".

Корсаков опустил в ящик два наиболее похудевших от литературных занятий пальца, но жестянка не пустила. Не зная чем себя занять, вор начинал уже неопрятно томиться, но при звуках из ящика опытно насторожился и выдвинул голову из укрытия. Становилось жарко и любопытно и даже смешно. Движения Корсакова, пытающегося откнуть пальцы в ящик были неопытны. Казалось, сейчас хрустнут ногти и он закричит от глупой боли. Чувства вора мешались. Ему переставало быть уже и скучно и смешно, и нетерпеливое желание оказать незначительную услугу случайному знакомцу начинало его обременять. К тому же ему тоже нетерпелось вскрыть ящик. Что же там за железного дверцей! Теперь он попытался себя обнаружить. Он осторожно прокашлялся. Корсаков вздрогнул, оглянулся и вздрогнул еще раз на всякий случай для порядка. Перед ним стоял молодой грязноватый мужчина с затертыми складками на лбу. Мокнатое, типично неаполитанское "М" бровей то опускалось, то поднималось вновь, грубо отвлекая от глаз. Красноватые как пузырики ноздри подрагивали, по две с обоих сторон рта вертикальные складки смеха мялись и он готов был расхохотаться в любой минуту. Все же сдержался. Теперь и вор хорошенько оглядел Корсакова и, убедившись, что к этому парню у него никаких профессиональных претензий, нагло зашелся хриплым и коротким хохотком, так что Корсаков туда-сюда сопроводил его кадык удивленным взглядом. Впрочем, вор вовремя остановился, на минуту забывшись, открыл слабый рот и в этот момент у Корсакова появилась мысль о том, что незнакомец состоит с ним в тесном и приятном заговоре, значения которого он еще не знал. Корсаков выпрямился, прокашлялся так, как будто собирался выступить перед большой аудиторией и только хотел протянуть ему руку, как вор обезьяньим движением вытащил связку отмычек и ринулся к ящику. В один момент дело было сделано. Ящик весело хлопнул дверцей, распахнулся и летучая рука Корсакова быстро схватила трепещущее белое животное, испуганно смотревшее на него немигающими стеклярусными глазами.

- Корсаков, складывая голубя вчетверо, сунул его в карман пальто. - "Не читая," - сказал он внутренним голосом. Так он всегда комментировал свои действия в неловких для него ситуациях.

Теперь они были внезапные друзья: вор и Корсаков. Живая аллитерация. В согласном молчании заговорщиков они вышли на улицу, чтобы считаться неразлучными. Вор - компатриот голубя и почты - неаполитанец.

Рот у него раскрыт и ряд желтых табачных зубов приводит в замешательство любого прохожего дантиста. Вор жестикулирует постоянно. Когда говорит или молчит. Он похож на гигантского седого колибри, преодолевающего тяжелый туфовый воздух полуострова. Вор, неизменный Джованни, носитель резких теней под глазами, руками рассказывает историю своей жизни. Жизнь его состоит из бедности, наслаждений, внезапных приступов набожности, необузданного веселья и жестикулирования. Впрочем, к римскому рукомаханию это ничего не добавляет. Здесь, в Риме, все машут руками, щедро расходуя мускулы речи, задевают прохожих, походя сносят руины, заключают в объятья, иногда душат. Вот и Джованни постоянно пытается себя удушить, или рисует в воздухе петлю для повешения, или похлопывает себя по ушам, оттягивает жидкую пергаментную кожу щек. Корсаков мысленно печатает этот странный курикулум на несуществующей машинке, которой он всегда счастливый обладатель. Пока он идет, пальцы его рефлекторно подрагивают: у Корсакова всегда под рукой интуиция.

Тут Корсаков отвлекается на грудь приземистого Сфинкса, невозмутимо несущегося в библиотеку для хлеба (так в Риме все). Такие сфинксы заменяют домашнюю птицу на большом скотном дворе империи: они суетливы и прилежны, носаты и чистоплотны: кровь и плоть города - его неизменная фауна - вечная мать и хозяина, или будущая мать и хозяина. И хотя Корсаков старается с презрением относиться к подобным персонам, все же они вызывают в нем архаические приступы похоти и ополам с идолопоклонством. Как часто руки его подсознания жадно хватают запретный зад или талию такой каноньерки. У него по спине даже пробегает неофитский холодок и он по привычке опять начинает видеть себя со стороны, как в телевизоре с нескрываемым удовольствием отмечая ужас и это удовольствие на собственном северном лице: так он готовится в памятники по окончанию университета и жизни. А когда по ночам спит в гостях - знает - в руках у скорби. Да, спит Корсаков обычно в гостях, зайдя на случайно подвернувшийся ужин, и принеся из фонтана забытую Богом бутылку охлажденного секта. Такой ужин проходит в каламбурах, аллитерациях, а жизнеутверждающий бифштекс в помидорах получает незабвенный урок славянской грамматики. После двух-трех часов ночи благодарные хозяева стелят лебединую перину задержавшемуся гостю и Корсаков, приобретая на ночь постель в каком-нибудь из лучших римских палаццо, погружается во многоцветный латинский сон. Только бывает где-то в сердцевине ночи кольнет его украдкой слабая и больная дума о Родине, о неприкаянности тела и невозвратимости минут. Но теперь, среди дня такие думы ему не страшны. Нечего бояться. Только не сутулиться. П родемонстрировать подлинное безразличие к окружающим, хотя, вполне понятно, что вот уже

вся улица приготовила оптику: смотрите вот идет поэт, не пропустите ни одного его движенья, ведь он цитирует апологетов маньеризма, конечно немного по-своему трактуя посадку головы. Но это не предосудительно, каждый волен запомнить Бернини на свой лад.

Вор же настроен мрачно и решительно: у сфинкса в сумочке залежалась целая вечность. Вот, чик заточенной монетой времен Юстиниана и арестантка уже на крючке. Можно послушать ее звон, запустить в оборот в обмен на маленькое человеческое удовольствие. Скажете - анахронизм, мол, проживешь и без соблазнов, давно соблазнясь на учение Христа.

Тут в булочной поднимается возня и сфинкс, благим матом покрывая всех воров и жуликов на свете, собирает вокруг себя толпу из трех неполовозрелых пекарят.

Корсаков машинально прошел еще несколько километров, на ходу проверяя свои мельчайшие чувства, и в результате потеряв всякое ощущение истинности. В общем, вор отвлекал его своим навязчивым рассказом, и криком этой дамы от какой-то важной, но еще не оформленшейся мысли. Его сосредоточенность на некоей мысли, которая, по заранее намеченному сценарию должна была быть убийцей создателя, то есть самого Корсакова, ожидалась сегодня к вечеру. Это не мешало ему выбирать дорогу прямо к церкви, на верхушке которой вместо подножия кресту высилась оленья голова. Тут он всегда по привычке неаккуратного читателя путался с историями Распэ. Именно это место привлекало его всегда в виду той невероятности, по причине которой охотник превратился в праведника. Именно здесь происходили чудеса, здесь умели светиться картины и удачно скрипели таинственные двери. Сколько времени прошло он не знал, но свет дня, проходивший через верхние иллюминаторы уже пропал в одной из капелл, что соответствовало движению неба над куполом. Уходил с опаской, когда черная служка в белом полураспустившемся цветке капора начала расправлять хрустящие букеты на алтаре.

Своего спутника он давно потерял. Вспомнил о нем и тут же забыл. Между тем вор то и дело сталкивался с Корсаковым и даже преследовал его немного. На улице на Корсакова дивились так, будто он дичь. А кто дивился? Сами они дичь - думал Корсаков: демонически-целомудренные девушки с вызывающе голыми руками, японские туристы с белыми оттопыренными абажурчиками на головах, американцы в по-интернатски коротких штанишках, обнажающих наивные колени звездополосатой империи: все смотрели на его кронштадское пальто, не вдаваясь в ту простую подробность, что шерсть скрывала его от жары заботливо, как бедуина в пустыне.

Корсаков очнулся внезапно, когда на остановке шесть добровольцев в ленивом ожидании заведомо несуществующего автобуса синхронно чесали

овулы. Между ними в самой середке стояло чудесное латинское приключение с золотистыми волосами. Ее розовощекие пальцы висели ресницами вниз, скрывая щедрую прохладу лавра, в котором была найдена младенцем. Корсаков уже сочинил целую историю о своей мысли, которая стояла теперь перед ним в простеньком платьи, шевелясь и ротозевая и ничуть не раня его научные амбиции. Он знал много способов заговорить по французски. Можно спросить, не она ли еще на прошлой неделе снимала метр квадратный в Палаццо Консерватории. Но нет, в самом деле, на сей раз он не последовал своей привычке. А последовал за ней. "Пускай она и будет моей маленькой убийцей," - с удовольствием прошипел он и удовлетворенно прищелкнул пальцами в кармане пальто, на время удушив неаполитанского голубя.

Он уже совсем, было, забыл о том, что готовил себя в памятники. И о важной и еще нерожденной другой мысли он и не думал теперь. Золотой свет, полоснувший его по глазу не давал покоя, и Корсаков побежал туда, куда увлекала его за собой тень девушки, ангела-подкидыша, найденного им на остановке.

Уже совсем почти опьяневший от неясных и глуповатых предчувствий, он остановился. Так хорошо знакомая площадь С. Мария Маджоре странно преобразилась. На белоснежной лестнице собора в непрерывающейся тяжелой и сырой тишине июля стояла толпа с плакатами. Необязательно было замечать их лозунги, разве что мелькали серпы и молоты. Девушка, робея, подошла к одному из консулов и с ним заговорила. Нет, скорей не заговорила, а стала мелькать пальцами, как это делают в Риме. Только теперь Корсакова поразила тишина, не вязавшаяся с таким собранием народа. Толпа была нема. Точнее глухонема.

Около пятидесяти глухонемых коммунистов боролись за свои права. Корсаков по своему писательскому обыкновению окунул площадь с высоты птичьего полета, зажег прожектора. На внезапно погасшем небе при навсегда выключенном звуке возникли крупные гербовые пчелы. Они были неподвижны. Стояли в небе и смотрели на серпы и молоты, молоты и серпы: все это быстро мелькало у Корсакова в глазах и не могло остановиться. И он подчинился и безвольно вертел головой, надеясь найти в этом достоверность наваждения. Но, увы, все происходило на самом деле, в самой что ни на есть жизни. Потом посреди толпы встал оратор и энергично замахал руками. По лицам присутствующих пробежал немой огонь. Теперь Корсаков чувствовал себя иностранцем вдвойне. Стоящие впереди и согласные с оратором проконсулы закивали головами. Золотоволосая девушка зашевелила губами. Корсакова опять потрясла тишина, нарушенная лишь грубой ниткой моторино. Еще момент и на площади взорвалась бомба аплодисментов. Корсаков чувствовал себя неловко. Почему-то он

сейчас испугался того, что эти немые люди могут узнать в нем чужого и оскорбиться его присутствию здесь. Чтобы себя не выдать, Корсаков страстно присоединился. Тогда хмурые лица придвигнулись к нему ближе и его, как активиста, выдвинули вперед.

Теперь он стоял в середине круга. Глухонемые с почтением расступились. От неожиданности он не знал, что делать с руками. На всякий случай, он начертил в воздухе треугольник и после этого из дома напротив раздались позывные Ватиканской радиостанции. Со стороны это было похоже на странный балет. Немые стали дышать прерывисто и беспокойно. От неожиданности он споткнулся и, на лету, чтобы удержать тонкое равновесие тела, сделал какой-то случайный жест, вероятно неправильно истолкованный. И тут все произошло очень быстро. Толпа напряглась. Мускулистое тело вновь вынырнувшего консула отбросило кровавую тень. Его подхватили руки товарищей и не дали ему удариться головой о камень. Через минуту те же говорящие руки толкали его. Немые от души дубасили его своими универсальными органами речи. Перед глазами пошел коричневый туман и он навсегда потерял сознание.

Он не знал, что приятель вор, преследовавший его уже от площади Венеции, с еще не просохшими от смеха глазами, поднял его с земли. Он не слышал душераздирающего воя машин скорой помощи. Но чудо произошло: немая заговорила. От шока в ней проснулось и разгорелось слово. "Ой, теперь не дышит," - выпрыгнуло изо рта, чтобы оставить ее потрясенной звуком собственного голоса.

Его же душа находилась теперь в музее: между глазами святой Екатерины и смуглой кожей мученика Варфоломея. В центре экспозиции лежала за облачной книга, по которой носились его мысли, то нежные, то злые. Что их беспокоило. Что заботило мысли? Может быть они сожалели о его, так невовремя оборванной жизни, или о недописанной им работе "О символике лестниц в христианской традиции" в кармане смялся почтовый голубь с очаровательной подписью "Л.Г." В алтарях все статуи Рима познали стыд наготы. Херувимы поступили на службу в BBC. Кавалерия научилась грамоте. На площадях зажглись фонтаны и, соперничая с ними, над городом взошла плоская и ко всему участливая луна с тиарой на голове.

Гропиус обманул

Мама довела рубильник до пяти, посмотрела на меня, потом снова на часовой механизм и встала с корточек.

- Пойдем, нам нечего здесь задерживаться, - сказала она.

Я еще раз оглянула комнату: слабенькие обои в голубоватых ландышах. Диван - одна душа в нем осталась. На пережившем себя ковре рядом с недопитым кофе лежит черный лакированный ящик. Ящик тикает.

Мы вышли в коридор. Облупленная дверь была хорошо заперта. Табличка с нашей фамилией валялась под ногами. По коридору сновали люди: иссохшие работники, несущие личинки прямо на комбинезонах, офицеры, няньки с детьми, грязные, в прошлогодних пальто конторские женщины. По лестнице мимо нас пронесся толстый негр с дюжиной пластиковых смокингов через плечо. Телефонная будка, стоявшая на этаже, вращалась. В нее пытался вскочить высокий пожилой мужчина. Наконец, ему удалось.

- У меня есть переводные картинки - заорал он в трубку - по сто камней за каждую!

Надо было спуститься и обогнать пятьдесят лестничных клеток, заглянуть в пятьдесят лестничных проемов. Может быть кого-то предупредить. Может быть позвонить в дверь к Лоту и заорать ему, чтобы он скорее собирал свои шмотки и жену и детей в охапку. Словом - бегство. Нет. Ну пропади оно все пропадом. Будут задавать вопросы. Времени нет отвечать и что отвечать? Нечего. Ну хорошо, соберут они свои шмотки. Побегут. И все равно они обернутся, а обернувшись - донесут. Нет, мы уходим одни. "Мама" посмотрела на часы, дернула носом. Может быть спуститься на лифте. Очередь. Перед лифтом стояла толпа и нервная от народа лифтерша отсчитывала каждый раз по пяти человек. Иногда кто-то совал ей в руки железный рубль и уговаривал поехать шестым.

Людей становилось все больше и больше, как это бывает к одиннадцати. Под кожей у них застучали машинки, задвигались баночки со сбереженным завтраком. Поднимались по лестницам, пробегали полные жилами прорабы. Несколькими этажами ниже было больничное отделение и без пропуска невозможно было спуститься на улицу.

- Скорее скорее, ну что ты тащишься, у нас дико мало времени - крикнула "Мама", швырнула зажигалку в лестничный проем.

- Я изо всех сил. Ноги как будто кончились.

На лестнице мы перевели усталый дух. Оставалось преодолеть еще несколько этажей, чтобы попасть во двор. У меня в груди все тикало так, как будто я была подсоединенна к механизму. Оставалось каких-нибудь пятнадцать минут. Но за пятнадцать минут можно было подняться на гору, а там

уже - безопасно. Мы косо перебежали большой, тесно мощеный булыжником двор, огороженный красной кирпичной стеной, и на секунду остановились у ворот, чтобы предъявить пропуск на выход. Часовой взял нас под пришур, старательно сравнил фотографии и мы прошли через вертушку.

Когда мы оказались на улице, "Мама" ловко поправила косынку и пошла скорым размеренным шагом, тихо улыбаясь. Я несла чемоданчик и смешила сзади. На часах церкви Св. Антония было без десяти одиннадцать.

- Ну вот, - сказала "Мама", наконец остановившись, - через десять минут все произойдет. Слова "все произойдет" она сказала хриплым шепотом, так, как будто бы кто-нибудь мог услышать или понять, что она имеет в виду. Она оглянулась на дом и вдруг дикий испуг ворвался в ее лицо.

- Знаешь, - сказала она, а ведь мы еще в радиусе действия, - она взяла меня за руку и поволокла вверх по негладкой земляной улице, так торопливо, что мне показалось, что она хочет забежать вперед, в самый конец истории. У меня защипало в переносице. Из носа потекло. На рукаве осталась ржавое пятно. Мы уходили все выше и выше в поселок с той скоростью, которая не позволяла рождаться смене чувств, моментальной памяти. Подвернулся каблук. Изображение сменилось. Итак, в комнате лежал черный, малознакомый предмет, на багровом ковре.

Домишкы, растущие на горе были окружены крашенными заборами, за ними качались фиговые деревья. Старьевщик с сознанием своей наружности значительно курил у водокачки. Летний ветер безмятежно стремился в огороды.

Мы поднялись еще на сто метров и взглянули вниз. Под церковью созревали дети и запах их кожи доносился в поселок.

Дом был хорошо виден отсюда, огромный минеральный, будто сделанный из куска серого мыла, окруженный стеной. Во двор въезжали грузовики, останавливаясь у пропускной. Я отсчитала семь этажей сверху и нашла наконец окно. Там тикало. Между письменным столом и диваном. На подоконнике гнили лилии. Они были отсюда, конечно, не видны. От напряжения на ногах моих встал пух.

- Еще пять минут.

- Почему мы не взяли такси? Мне кажется, мы еще в радиусе.

- Ну тогда бежим, о такси надо было раньше думать.

Мы снова бросились бежать. Одолели еще несколько природно образованных улиц. Остановились передохнуть у предпоследнего дома. Семья заботливо сидела у телевизора. Шла седьмая часть "Горла". Ну вот домики кончались и начинались огороды и чайные террассы. Становилось тепло. Воздух светлел на глазах, пахло внешним и внутренним, тем, что сгорает и тем, что возникает. Мы бежали вдоль чайных кустов как в лабиринте, как в Бронксе, как в банке с дерзьмом. "Мама" постоянно оглядывалась вниз,

туда, где народные люди танцевали. Город становился все меньше и меньше. Окно стало неразличимо среди множества других. Я открыла чемодан и вытащила схему. Радиус действия не обозначен. Еще полминуты. Мы оказались на маленькой улочке, которая привела нас в тупик. По краям тупика цвело. Вишни и сливы готовились к августу плодоносить.

- Кажется мы не убежали. Но больше нет сил. Сейчас прийдет. Хорошо, что уже так высоко, но если мы еще в радиусе - получим только легкие контузии. Надо прикрыть голову.

Она вытащила из сумочки белую полотняную шапочку и протянула ее мне - надевай.

- А вдруг радиус бесконечен? А что такое число "Пи"?

- Спи.

Мы смотрели вниз. Стрелка задрожала, покачнулась, бросилась к одиннадцати. На губах, как в типографии высыпал цинковый порошок и "Мама" щвырнула меня на землю

- Ложись, - крикнула она сиплым срывающимся голосом. Я уткнулась в только что испеченнную землю и закрыла руками уши. Механизм продолжал тикать. Из-под земли доносились народная музыка. Прошла минута, потом еще одна. Мы лежали на земле.

- Ничего не слышно. Может быть не сработало?-

- Должно, все-таки у Гропиуса покупали. -

- Я посмотрю.

Нет, лежи. Это очень опасно. "Мама" сделала два ползка назад и зацепилась.

Часовой механизм остановился и была полная тишина. Мы пролежали еще час, не говоря ни слова. "Мама" думала о том, сколько трудов и денег стоило ей это дело. Я думала о кирпичной стене. Желтая бабочка села мне на руку, покрылась инеем и сгорела. Клонило в сон.

- Ничего не вышло - нарочито бодро сказала "Мама", пробудив меня из опепенения. Она встала и с облегчением отряхнула платье.

- Ну, и что теперь делать? - спросила я.

Мне показалось, что она дала мне пощечину. Да, она это сделала - Что? - она была в замешательстве, - Домой. Мы возвращаемся.

Хоть возвращаться и страшно было, нас душила тайная радость.

И вдруг я поняла, что я совершило не знаю, для чего мы делали ЭТО. Очень хотелось поскорее домой, подмети там бы, пол вымыть, броситься на высохший от времени диван и почувствовать под собой как на нижних этажах привычно орут смертники. Отнести черный ящик наверх - туда, где начинаются конторы и где стоят тысячи подобных ящиков.

Месяц назад это началось. Мы собрали деньги и отправились к Гропиусу - продавцу бомб. Он не задал нам ни единого вопроса. Почему? Может быть Гропиус обманул? Может быть "Мама" обманывала меня? Был ли у нее умысел? Хотела ли она разрушить городок или всего лишь дом, окруженный страшной стеной с пропускными воротами? Может быть она хотела сжечь обои в голубых ландышах, немытое окно, кислый запах чужой заботы, разорявшей наше жизненное оцепенение? Может быть ей мешали этажи. Эти бесконечные этажи: на втором - суд, под нами - больница, над нами, этажем выше - тюрьма, на шестом - детский приют, в соседнем крыле - прачечная. Слишком было много для одного дома, для одной жизни.

В последнее время мы только и говорили, что о бомбе. Кому она предназначалась и куда мы от нее бежали? Мы пошли вниз. "Мама" виновато улыбалась. Начались домики. Шла восьмая часть "Горла". Внизу вьетнамцы из туристического проката как раз вошли в краевой музей.

По дороге мы встретили горбатую девочку. Она отчаянно бежала на верх туда, где цвел тупик, в земляные воронки, бежала на своих тонких безволосых ногах, думая, что попадет в чайные террасы, задыхаясь и спасаясь от невидимой погони. Мы обернулись, предчувствуя что-то. Добежав до первого огорода она бросилась на землю и закрыла руками уши. Снизу все еще доносилась музыка.

В другом варианте истории у нас остановились часы и позволили нам все же взять такси. Мы удалялись от эпицентра по прекрасной кипарисовой дороге, но по мере нашего удаления от дома и от города радиус расширялся, догоняя нас, пока не произошел взрыв. Но произошедший взрыв, его волна - воздушная и звуковая - донеслась к нам с другой стороны. Тут горбатая девочка рассказала нам историю эха, которое бесконечно как мячик от пинг-понга.

Горбатая девочка бросилась на землю и закрыла руками уши так плотно, что когда произошел взрыв и голову оторвало от тела, руки удержали ее на месте...

Над городом висел взрывной гриб. Он был абсолютно в форме города. Просто это был перевернутый город - его отражение, двойник. Внизу лежали руины. "Мама" натужно "светло" улыбнулась и тут же заплакала, да так горько.

- Ах, что же я наделала - сказала она.

- Ничего, мы поднимемся в гриб.

Лицо ее мирно просветело.

- Скорее, скорее идем в гриб - сказала она, потом от мыслей замешкалась, посмотрела в небо. - А как?

- Вечером, когда тепло сойдет с земли, он опустится вместе с росой и мы войдем туда.

Вечером гриб опустился. Он был как желе и как перевернутая башня - изнутри (ведь вы знаете что башни и купола изнутри напоминают воронки).

"Мама" встала на голову и сделала первый шаг. Нога ее логрузилась в упругий газ. Она легко пошла вверх, в середину гриба. Я тоже с усилием перевернулась кверху ногами и вошла в газ. Теперь руины были над головой. Вначале кровь прилила к лицу, но по мере продвижения вглубь газового гриба, она вновь равномерно распределилась по телу. "Мама", казалось, совсем успокоилась. Она посмотрела на часы и поняла, что циферблат перевернулся.

- Сейчас время пойдет в другую сторону - сказала она мне.

- Это потому что мы вверх ногами?

- Потому что гриб - это результат всей истории, но и гриб имеет свои законы и они уведут нас к началу, - сказала "Мама".

Действительно, время как бы покатилось назад. Когда мы оказались в подобии чайных кустов, мы увидели девочку - ту самую девочку-горбунью. Она только сейчас оторвала ладошки от ушей и панически отбежала назад...

Мы начали преследование. Девочка бежала спиной, как это бывает в кино,пущенном наоборот. С ловкостью акробатки перескакивая через кусты, она спускалась все ниже и ниже. Мы не поспевали за ней. Все надписи были тоже наоборот. Вместо "тупик" стояло "кипут"

- Надо бежать спиной, - сказала "Мама"

Через секунду мы обе с сильнейшими ушибами лежали на брускатом тротуаре. Девочка исчезла.

Наконец, мы оказались около дома, предъявили пропуска, косо перебежали двор.

Мама посмотрела на часы, дернула носом.

- Может быть подняться на лифте?

К счастью нас взяли в битком набитый лифт и мы поднялись наверх.

Теперь надо отбросить сомнения о том, чтобы позвонить в дверь к Лоту и орать ему, чтобы он скорее собирал свои шмотки и жену и детей в охапку. Теперь - никакого бегства. Да. Никто не задаст ни единого вопроса. А мне бы хотелось. И у меня есть ответ. И хорошо бы, если бы кто-то донес.

- Кончились, больше нет. Но у меня есть еще промокашки! - заорал кто-то в трубку - тоже по сто! Потом недоговорив, выскочил из телефонной будки, стоявшей на этаже. По лестнице мимо нас пронесся толстый негр с дюжиной смокингов через плечо. По коридору сновали люди: пожилые офицеры, няньки с детьми, грязные, стриженные ежиком женщины. Ну,

наконец. Облупленная дверь была хорошо заперта, табличка с нашей фамилией "Допилсон" валялась под ногами. "Мама" открыла дверь. На багровом ковре рядом с недопитым кофе лежит черный предмет и тикает. Я, как впервые, оглянула комнату: обои в голубоватых ландышах. Плюшевый диван.

Она довела рубильник до пяти, посмотрела на меня, потом снова на часовий механизм и встала с корточек.

- Пойдем, нам нечего здесь задерживаться, - сказала она - необходимо взорвать гриб.

Как мы рыли Рим**Мама мыла ляров.**

Мурманск. Лежим на крыше. Плюем на Европу. Над головами в кирпичных вазах - ледяные тригонометрические кактусы. Внизу Германия распостерла своего орла, Франция - свою пилотку, Италия - свой сапог и Польша своего льва. С другой стороны высится песцовою шапкою северный полюс, весь изрытый испанскими воротниками, в которых живут королевские черви, где летнее солнце не заходит, а сомнительно парит изо дня в день, выпаривая кончики айсбергов. Там, посреди большой вымоины стоит египетская ванная. И в ней - фонтан. Туда приходят сонные Фрателлини полоскать руки, отмывать их от крови своих собратьев. Полоснут так деловито, будто зарезать приходится каждый день. Будто не в Ватикане - а на бойне работают. Там, на полюсе, ближе к моему Континенту, шагах в тридцати, если отмерить, висят туши. Огромные туши композиторов. Твоих любимых композиторов. Вот Рахманинов висит без галстука, а то и без бобровой шапки, вот Малер с петушиным черепом, гребешком лед мечтет. Висят - леденеют. Еще много есть на полюсе разной музыки, но отверни глаз, заройся в партитуру, разглядывай ноты, а туда - ни ни - не гляди! Страшно, все-таки.

А еще месяц назад лежали в Риме на раскаленной крыше и город уходил вниз колодцами площадей, траншеями улиц, ведь мира поверхность, его почва и основание - крыши. А город был вырыт вниз - как червями и каждое новое поколение вырывало новый еще этаж. Хотелось добраться до самой середины жизни. Откапывали город. Ведь в земле уже все было с самого начала. Так что и твое будущее лежит глубоко внизу - иди - копай, может и наростишь. А мы лежим среди циклотемических растений, больных растений, отягощенных небом. И в небе идет война. Небесная война, невидимая война, посланная нам с экватора. Но ты ее чувствуешь. И я.

Мы лежали на древнейшем слое человеческого накопа. Вниз уходили черные базилики, насыженные огурцами, населенные орущими и мертвыми горожанами, подкупными судьями, рабами в собачьих масках, и теми рабами, которых нанимали в поминальные дни наряжаться в умерших родителей, и сами родители, и потом большие и малые цирки, из далекого глубокой земли напоминавшие инфузории, и капканы колизеев маленьких - вступишь - ногу откусит, и потом термы - чтобы баньку погорячей и вениками драть всю эту юриспруденцию. Но главное, что нас взволновало тогда - обилие триумфальных арок! Мы лежали тогда на древнейшем слое человеческого дерма, а над нами вращались вазы, вазы, вазы, как юловые верочки.

К утру мы стали напряженно думать о принципиальной разнице храмов и триумфальных арок. Одни составили славу Богу, другие служили памятниками войне. Разумеется, сравнение наше было чисто формальным и наращивались вопросы о языческих триумфах и христианских смирениях, о тупиках и проселочных дорогах, о площадях и замкнутых помещениях, о свободной дороге городских проспектов и стенах без входов. Об апостольских ключах и о воровских отмычках. О городах, в которых важнейшим принципом является внешнее и внутреннее, об архитектуре провинциальных памятников. О райских вратах и покосившихся дверях бедных деревенских лачуг, об алтарях, за которые не каждый мог бы войти. Я думала о клаустрофобии священников. В четверг появился молодой священник из Бостона. В детстве он был цветным, но потом уехал в Ватикан. Мы говорили о победителях, вознесенных в ранг святых и о скромных тружениках религии, не знающих сочувствия. Но главное - что поразило нас - родство портиков - эта навязанная акрополическая дверь. И во что был вход? Во что входили мертвые войска - все в тот же полуразрушенный город. Врата рая, в которые еще не вошел ни один смертный и - все эти входы и выходы. Они не рождались заново, не очищались, пройдя через священные ворота. И чьи лики были на этом алтаре. Не лица ли победителей в последней войне? - Спрашивала я себя. Но бостонский священник молчал, вероятно потому что он был одним из миллиона мелких газетных сообщений. И я ушла.

Но не открытие Рима меня потрясло. Отнюдь нет. Чудеса, явленные мне в запахах, давно улетучившихся, заставили меня вынюхивать булыжник. Это здесь все застrevает в тротуаре: волосы, ногти, остроугольные пятки, вошедшие в моду в пятидесятые годы, застrevают как мясо в зубах. Я не успевала. Я пыталась вынюхать историю. К чему такая спешка. Что там пахнет под ногами, под тротуарами, которые создали кожу городской почве? Кости. Кости не пахнут, не потеют, не требуют никаких ароматов. А внеисторическая парфюмерия бензина, разлитая в центре. О вечная божественная парфюмерия от которой кружится голова, а потом тошнит так, что хочется с ног до головы облевать любую свежесрубленную щетину на упругой щеке меченосца. Нет, эти современные штучки не в счет. И внутренности моего носа - сердце, печень и почки моего нюхательного аппарата ориентировались по запаху костей. До меня долетал влажный, сильный до хрипоты запах скандала, и пыльный, доносившийся с юга запах обреченности. Эта вонь обреченности рассмешила меня. Из нее можно было бы замешать состав, на котором стали бы работать феррари. А что я сама, чем пахла я сама - невесомостью, льдом, любопытством или усталостью?

Мы въезжаем автостопом в четыре часа ночи в еще один город, где на бульварах с песком, привезенным с моря, отведено место для собачьих какашек, где скамейки еще с четырнадцатого года свежеокрашены "Осторожно - не садиться". Пьяные от усталости мы ждем чуда. О кто бы нам разослал на бульваре большую собачью постель, пускай она будет несвежей, но наши тела могут принять приличествующее сну положение. Нет. Уж ухушки. Только в необыкновенно длинном окине, разделенном тем, что мы обычно называем простенками, ходит большая собака: то ли окна доходят до пят, то ли собака на ходулях, на каблуках? Да на каблуках и застrevает в паркете, отчего делает нервные паузы. Завороженные этим необыкновенным зрелищем, мы все же замечаем мимо идущего со скоростью сто километров в час электронного равина, который спешит принять позу утреннего сна. Конечно - это единственная возможность чуда. Преследование равина, чтобы с готовностью описать ему наше бедственное положение в городе незнакомцев и потенциальных бандитов, но не лгунов (все великолепие лжи - в Москве) Он бежит, придерживая шляпу, чтобы предутренним сквозняком не унесло - эти ортодоксальные мысли! Конечно, в его справедливой голове есть койки для всех. И мы бежим за ним. Сверхскоростной равин заподозрил ливанских террористов, вооруженных настойчивым желанием оккупировать его надежную постель. И, о, чудо. Оно произошло. Он растворяется в воздухе прямо посреди бульвара в песочной перспективе, не оставляя нам и последней надежды на покаянные сновидения. К рассвету, выйдя к еще неизвестной, но знаменитой улочке Устриц мы видим как на прилавках во льду и без мук рождаются морские фрукты, уже в пятом часу начавшие цитировать "Мост Мира". И здесь, на дне морском, среди трудолюбивых разносчиков цивилизации, спешащих опустить в почтовые тумбочки ст их и адвокатов: "Доброе утро", "Как спалось?", мы пьем нищету собственного адреналина в чашках безутешного мокко, которым можно попытаться хотя бы на два часа победить снотворное беглецов.

А вот и другой эпизод из истории человечества, из блужданий, растущих под ногами как атомные грибы. Эпизод этот зовется любопытством. Например, ты умер во время своих путешествий и, наконец, представилась потрясающая возможность все знать! Какие же странствия тебе предстоят на сей раз? Не зная с чего начать, ты забираешься в первую очередь к соседям. И твоя газообразная душа смешалась с запахом бульона.

И вот, наконец появилась она: оскал желтых зубов - двадцать четыре ряда - мелких. Сама - маленькая, самка жалкая, битая, видеть недавно. И битая - ясно - человеком - палкой. Глаза были красные, как свечки. Она пришла вдруг, никого не предупредив. С неба ее что ли скинули? И вдруг

стала дико рычать и валяться в пыли. И нам стало холодно. И вдруг - вдруг она начала нас рожать. Никто не хотел вылезать первым. Ты - Р-р-р. Нет. Ты, р-рем-м-мм. Так она рычала. Мы были близнецы. Ромул вывалился первым. Головой вниз. Стукнулся о кафельный пол. Ничего, выживет - собака. От него повалил густой красный пар и небо заволокло. Она завыла. Так больно завыла. Ах, жалко ее стало. Потом вылез - я. Как резиновая груша. Как мокрая резиновая груша. Из меня торчала антенна, которой я был подключена ко всем радиостанциям. Своими желтыми клыка-ми она перегрызла ту единственную, ту последнюю живительную нить, связывавшую меня с миром и ... наступила темнота. Вечная тьма наступила. И ветер только выл на полюсе Шестую патетическую. Короче, провод перекусила. Отключила от мирового вещания. И вот лежал я уже не на се-ми холмах, а в далеком холодном будущем, куда еще ни одна душа челове-ческая не зашла, потому что боязно ей душе в неизвестность нос совать. В будущем еще ничего нет - ни домов не построили, ни дорог не проложили. Только счастье - холодное бесприютное счастье ни для кого - само себе растет, увеличивается в объеме, пухнет от абстрактной радости. А я лежу среди этого тесного беспробудного счастья и гидравлический голод мучит организм. Из прошлого пришли ко мне на память плоды и куски масля-нистого мяса, и сады, росшие в будущее, но рано увядшие и невовремя кон-чившиеся средневековые и другие времена. Словом, лежу там, куда не до-шли ни одни времена. То ли не успели, то ли вовсе и не поторопились в бу-дущее, а так для самих себя эгоцентрически текли, как семя человеческое попуту в грунт разливали, чтоб от него только личинки были по высыха-нию. Все же я оглядываюсь - нет ли следов? Не мог бы я от себя самого зачать себе друга для вопроса. И тут мне на ум приходит археология, от которой пробудилось в историю зачество Рима. Припал я губами к архео-логии и целовал ее горячо и щупал ее влажную письку, и пахла она гли-ной и навозом, от которого радостно стало, потому что не может навоз из космоса прийти. И открыл я коней, от которых был навоз и плуг, от ко-торого кони родились. И вспахал я землю. И плуг мой на крест и на полу-месяц и на звезду наткнулся, которые были верхушками соборов. И плу-гом вырыл я город и согрел во рту личинки людей, что были в нем рас-сыпаны. И проснулась моль подземная и указала мне на ткань. И пошел я по этой ткани еще ниже к личинкам ткачей. И отогрел я ткачей и компо-зиторов и они мне сыграли всю музыку из верхних времен. И сделал я ком-позиторов землекопами. И так нарыли мы начало времен. И был знак умереть, потому что счастье стало и с той стороны гадить. И чтобы уме-реть - назначено мне было стать человеком. И я сделался человеком и стал бороться со счастьем, потому что не хотелось мне умирать. И поборол я

счастье. И стали мы собаками и нефть пили, потому что не могли больше трудами вино делать.

Что было потом? Об этом написаны миллионы томов на разных языках, людьми разных профессий и званий, разных происхождений и смертей, различных религий и убеждений. Словом, проще прочитать всемирную литературу, чем мне изложить в двух словах то, что произошло потом. К тому же, есть новые изыскания и я могу ошибиться. Они появляются каждый день. Две строчки в какой-нибудь новозеландской газете, появившейся сегодня утром могут перевернуть все представления. Но! Аккуратно и внимательно, без пауз прочитав литературу (а к этому относится история, теология, софистика, языкознание, археология, герменевтика, ботаника, медицина и т.д.) приступите к чтению завершающего абзаца.

Итак - это не страшно. Слава Богу, теперь в Мурманске. Самолеты пилият над нашими головами ледяное небо - ледолеты. Голобокудрявые вши чешут спину. Хочется молока. Конечно из белого льда делают молоко - мы будем лизать полюс. Будем его лизать своими собачьими языками, пока они не превратятся в кровавую жижу, пока наши глаза не превратятся в воздушные чаши, в невидимых пилотов. И мы вылижем город. Мы отогреем своим дыханием колодцы площадей, уходящие вниз лестницы, мы отогреем кошек, которые еще не родились, но уже замерзли на ступенях неродившихся храмов. Мы будем рыть ногтями так, как мы рыли Рим - вдвоем, молча - вниз - упрямо - в наше далекое и всеми оплеванное будущее.

Случайная гостья

Католик оказался родственником моего мужа. Он умер, не выдавив ни единственной слезы из родственников и ни оставил ничего, кроме невыразительных долгов. Его положили в закрытый гроб, ни на минуту не удостоверившись, что он лежит лицом кверху. В маленькой безвкусной церкви с дурно игравшим органистом собирались мужчины и женщины. Все они думали только о себе и ни на минуту не отвлеклись от своих мыслей. Мужчинам в кожаных пальто хотелось побывать в одиночестве. Густо накрашенным женщинам хотелось похудеть. Но по традиции европейского рационализма, все сохраняли мрачное достоинство.

Священник, только что вернулся с джокинга и потел. В испах одетой поверх тренировочного костюма рясе, наугад открыл Библию и прочитал несколько первых попавшихся цитат, которые идеально подошли к прискорбному случаю. Публика шевелилась как в театре. Эти слова были смутно знакомы: их читали в школе, часто цитировали по радио во время больших церковных праздников.

Священник ясно выговаривал слова. Немного торопливо. Быть может, слишком торопливо для похорон, если не учитывать дохода. Они так и отскакивали от его красивых мягких губ. Он нарочито раскачивался и делал поучительные паузы в нужных местах, а иногда и повышал тон, чтобы потом зашептать последние слова.

Он слишком быстро повернулся к вдове. Вот уже две ночи она не могла уснуть. Священник качнул головой сыну покойного, уткнувшемуся в носовые, пахнущие туалетной водой перчатки, повернулся к дочери покойного, сосредоточившей все свое внимание на одном из помфайнедера - служащих кладбища. Он был красив - этот помфайнедера, высокий, широколицый, с черными лунками земли под ногтями - по работе. Наконец священник закончил и вздохнул так, что у него запотели очки. Публика начала дышать свободней. Четыре помфайнедера в седых коротких шинелях из настоящего репса и в козырьках положили гроб на тележку и выкатили его из церкви. Вдова на минуту залюбовалась черной лентой, заказанной ей у каллиграфа, где было красиво выведено "Дорогому Эрику от Эрики". Она увидела, что все взгляды обращены на нее. Действительно, все на нее смотрели. Она виновато себя оглянула и заметила прилипшую к животу белую шелковую нитку. "Заметили!" - по ее спине пробежал резкий холодок и застрял в ребрах. Она всхлипнула, на всякий случай закрыла руками обрюзгшее лицо и незаметно скатала нитку в шарик. Публика, так и не давшая себе труда продемонстрировать сострадание, явно возложила все надежды по оплакиванию мертвца на его вдову. Вдова осмотрела присутствующих из под очков, отметила соболя, только что скончавшегося на воротнике у

племянницы и виновато улыбнулась. Тут же опустила глаза и последовала за гробом.

Процессия тронулась, дрожа как фарш. Стараясь скрыть свое смущение, вдова притянула к себе сына, шелотом заговорила о том, что гуляш уже привезли из ресторана и разогревают на специальных горелках, и что газ будет подан из специальных газовых консервов. Сзади в толпе загудели. Сын одернул мать за рукав и указал глазами на служащих кладбища. Она осеклась и снова стала смотреть на равномерное покачивание гроба. Наконец, помфинедера дошли по мерзлой дорожке до свежевырытой могилы и, подложив под гроб брезентовые ленты, стали медленно опускать его в яму. Гроб не буксовал, а послушно опустился, словно с нетерпением ожидал, когда коснется земли. Щуплый пожилой могильщик с заискивающей улыбкой, той, что отличает могильщиков от никогда не улыбающихся помфинедера, зачерпнул земли в совок и кособоком встал над ямой, предлагаю га каждому столовую ложку земли.

Первую горсть земли бросил священник. Потом подошла вдова. Она бросила с верхушкой целую ложку земли на светлый деревянный гроб и попыталась взглянуться в крышку. Земля только стукнула в гроб. Ничего не произошло. Гроб был дорогой и зря уходил под землю. Разочарованная, она спустилась по ступеням и стала поджидать остальных. Гости, досытая набросавшись земли, теперь уже совсем расслабились и передали гроб под ответственность кладбищенского начальства. Гробовщик уютно, по-хозяйски мурлыкая, завозился над ямой, а скорбящие стали по одному торопливо выходить за ограду.

Дело было осенью и первый, еще не давший строгих ледяных початков морозец вызывал голод внутри скорбящих. Смерть смертью, а от стужи все проголодались.

Скорбящие разъехались, кто на своей машине, кто на такси, и появились через десять минут в доме, находящимся, кстати сказать, прямо напротив ворот другого, богатого кладбища. Скорбящие, стряхивая с себя редкие капли мокрого снега, быстро топтались на пороге и с облегчением заходили в теплый дом, сбрасывая сырье шубы прямо на деревянную скамью в прихожей.

В затянутой черными лентами гостиной, дочь возилась над алюминиевым корытом с гуляшем и автоматически наливала его по тарелкам. Сын и племянники конвейером выстроились в направлении стола и дело шло как по маслу: каждый присутствующий получал свою порцию дымящегося мяса и, наконец, за столом образовалась, полагающаяся месту и времени тишина.

Вдова отвлеклась от нехватки мужа. Она чувствовала себя настоящей хозяйкой, с наслаждением смотрела на коричневые куски говядины,

исчезающие за знакомыми и незнакомыми щеками. Постепенно над столом пошел гул. Тридцатилетний племянник с облегчением вытащил из черного пиджака фотографии недавнего отпуска и стал шепотом объяснять соседу устройство некоего парусника. После третьей рюмки за упокой один из родственников принялся тихо, но беспардонно скабрезничать.

И только русская девушка Варя с мокрыми глазами, случайно попавшая на похороны и совсем чужая католику встала из-за стола и тайком стала спускаться по лестнице, туда, где покойник провел последние месяцы. Вот уже третий день пошел вариной загранице.

Она оказалась в чужой иноземной спальне, зажгла свет и с трудом разыскала в блокноте фотопортрет, где покойный гладил кошку. Умерший иностранец сидел на диване в коричневой пижаме и неестественно весело глядел на кошку, сладко выгибающую спину под его рукой. Кошка удивленно разглядывала умершего. Варе показалось неправедливым, что вместо того, чтобы плакать, все едят гуляш и она решила мучиться и голодать, так как бы она поступила дома. Походив по комнатам, и подавив в себе разгорающееся от запаха голодное чувство, она представила, как совсем недавно по этому желтому паркету ходил покойник. Она никогда не была с ним знакома, но по фотографии представила живо, как неторопливо идет он вдоль светлозеленых обоев, как держится правой сухой рукой за стену, а левой придерживает овечий плед. Как задевает плечем висящую на стене черно-белую фотографию на курорте. Вот и сейчас Варя заметила осколки от разбитого стекла. Значит, она была права. Ходил тут иностранец-покойник. Она села на добротный плюшевый диван, на котором покойник так любил гладить кошку. И кошка тут же свернулась клубком на вариных коленях.

Наверху уже начались танцы. Дрожал шкаф. Две наглые и счастливые от пресыщенной западной жизни пятилетние внучки покойного оторопело бегали по лестницам. Их головы были седы, от только что нечайно пропыпанной в ванной пудры.

Варя еще раз с сожалением взглянула на фотографию покойного и гордо и пронзительно вспомнила русские похороны: "Вот у нас рыдают," - подумала она - "по-настоящему. И пьют водку за здоровье умершего, а потом пьяные плачут и поют". Она поучительно вспомнила, как попала однажды в Ташкенте на похороны совсем незнакомой ей женщины и как портрет большой толстощекой и добréй женщины, одновременно лежавшей в открытом гробу, вызвал у нее слезы. И горе ее было настоящим и росло и превысило горе других и Варя гордилась этим. Тогда, на ташкентских похоронах она смотрела на стоящую на фортецье фотографию умершей и сравнивала эту фотографию с покойницей и сравнение всегда было в пользу фотографии. А как потом от этого у нее, у Вари, пересохло в горле и

зашипало в носу, потому что она сделала обобщения и пришла к выводу, что человеческая жизнь - только пустяк. Вот и теперь при этом воспоминании Варя заплакала. Ей стало жалко себя - одну, мужественную девушку, думающую про чужого покойника.

По лестнице спустился сын покойного и прошел мимо отрывного календаря, на котором стояло недельное число - дата смерти (листы из календаря всегда отрывал сам умерший - это была его обязанность - и теперь некому было оторвать, потому и вышла случайным символом дата смерти, заметила Варя). Сын покойного подошел к Варе и тупо покраснел:

- Вы, Варя, знает, наверху - кушать? - спросил он любезно, но с ошибками, потому что недавно стал изучать русский, а ведь Варя была его другом по переписке.

- Не надо мне вашего гуляша. - Сказала, изучавшая немецкий в школе Варя, но сказала она это озлобленно с сильным акцентом, а про себя по-русски повторила "вашего немецко-фашистского гуляшу". Сын покойника отошел и закурил. Варя решила смягчить с ним беседу и попытаться другими методами вызвать в нем сожаление об отце или хотя бы какоенибудь мелкое человечье чувство. Ее так и подымало задать вопрос, будет ли он безутешно рыдать, когда умрет его мать. И она аккуратно спросила: "А вы кого больше любили отца или мать?" Своим вопросом она явно поставила сына покойного в тупик и злорадно сложила губы конвертом. Сын покойного нахмурился, посмотрел наверх, на дрожащий потолок: "Мутти-маму" - сказал он после раздумья. Там наверху уже включили радио. Сын покойного иностранца обеспокоенно поглядывал на пластикового хрустяля люстру и явно торопился наверх. Но Варя решила настоять на своем: А покажите мне ваш семейный альбом, - сказала она, случайно заменив слово "альбом" на "альбум". Сын покойного безразлично вытащил из комода альбом. Ему было, явно стыдно, что альбом такой старый. Все же хотелось наверх. "Покажите мне альбом и расскажите", - настойчиво сказала Варя. "Это папа, это мама. Это папа. Это мама. Это папа. Это сестра. Это мама", затараторил сын покойного. "Подробней, подробней!" - настаивала Варя. "Это мама в молодости. Это папа в молодости. Это сестра в детстве", - продолжал сын покойного.

- А вы очень похожи на отца, - сказала Варя, чтобы вызвать в сыне чувство близости к покойному. Сын виновато пожал плечами. Лестница за скрипела и вниз спустилась вдова.

- Вы уже пробовать гуляш? - участливо спросила она.

- Я не хочет есть! - гордо сказала Варя.

- Вам не любите гуляш? - спросила она настойчиво.

- Я не есть голодный - повторила Варя. "Мама, ну она не есть голодный", - вмешался сын. Вдова повернулась спиной и стала обиженно подниматься по лестнице.

- Я пойду к маме, она сегодня огорчена, - сказал сын покойного и воспользовался возможностью пойти наверх туда, где танцевали. Потолок стал прогибаться сильнее. А Варя перелистывала альбом, пытаясь как можно тщательнее взглядеться в черты покойного и понять ту причину, по которой никто не плачет. Тут шли все довоенные фотографии "папы в молодости", и, наконец, Варя наткнулась на фотографии "папы как молодого офицера SS"!

Варя еще никогда не видела настоящей фашистской формы, но теперь она все поняла. Покойного не любили, потому что в молодости он был фашистом, да еще в SS. Она с облегчением захлопнула альбом, так, что пыль пошла кверху, презрительно бросила его на диван, засунула фотокарточку с кошкой между стенкой и комодом, так, что фотокарточка, скользнув по стене, вылетела из-под комода на середину паркетного пола и поднялась наверх. Наверху танцевали венские вальцы. "Вот они - похороны фашиста!" - еще раз про себя торжествующе повторила Варя на чистом русском и села в уголке - как раз так, чтобы ее пригласили, и чтобы выйти потом за немца. Два вальса подряд ее никто не приглашал.

- Удачный гуляш, - послышалось у нее за спиной. К ней подошла дочь покойного.

- Варя, а вы-то ели? -

- Я не есть голодная, - с ненавистью сказала Варя.

Вдова ворковала с подругой за столом, рисуя пальцем выточки у себя на груди. Варя подошла к ящику с пластинками и стала рассматривать содержимое. Наконец, она нашла что надо: "Калинку". "Ну-с я им сейчас покажу-с как под Сталинградом" - сказала себе Варя. Кровь бросилась ей в голову. Заменив дрожащими руками венскую кровь на Русскую плясовую стала одна отплясывать "присядку" прямо в юбке. Скорбящие опешили, прекратили разговаривать. Сын покойного стоял в уголке и губы его дрожали. Вдова лихорадочно схватилась за сердце. Она держалась за спинку кресла и, казалось, вот вот упадет. В рядах гостей, за пьяным столом уже рыдали. Дочь покойного всхлипывала, а Варя как алкоголичка, никого не замечая все плясала и плясала, пока не упала замертво...

Литовская ручка.

Прихожу на блошиный рынок, а там жены продают мумии своих мужей - ветеранов великой Отечественной. И не лежат мумии, а стоят на деревянных хорошо отполированных дощечках. Почти все мумии были в военной форме: кто лейтенант, кто майор в истлевшем кителе, кто простой солдатик. А у одной - был в костюме индейца - сущеный таджик - до войны он актером служил в Душанбе. И богато украшены мумии: у некоторых даже вместо глаз драгоценные камни. А бедные нищие бабки из последних сил друг перед другом хващаются и наперебой расхваливают свой товар, торгаются с покупателем.

- Мой Ванек семнадцать лет на фронт пошел. Вот я девкой и осталась. А не жалею. Любовь мою я как гвоздь сквозь годы пронесла-сохранила. В комнате моей все его портреты, портреты, портреты! После кантузии мучался, не смог мужчиной стать, все плакал. А мы в конце войны все-таки поженились. Ждала я пока он вылечится, детей мне сделает. Война кончилась, все рады, а он в декабре сорок шестого скончался в госпитале. Там холод был. Вот его и заморозило. Он добрый был ко всем калекам, за это правительство и решило наградить его посмертно. Вот мне пособие и дали на мумифицирование. Мумификатор попался по началу такая падаль, скряга, нерусский какой-то, чужак... (яврэй, наверное).

- Ой, а сколько я намучилась-навозилась. У нас была сырья квартира - окнами на север. И в пятидесятые годы, чувствуем с сестрой - несет по всей квартире. Все пятидесятые до пятьдесят шестого воняло. А квартира у нас тогда маленькая была. Искала я искала, шесть лет по дому рыскала, нашла-таки! Серега плесень дал. Стоял он у нас тогда около самого балкона. Вот ему и надуло в руку. Пригласила я доктора, а он на меня вылу-пился, чего, мол, мертвца лечить. А я ему: муж это мой Сергей Афанасьевич Петренко, герой войны, и не мертвец. А доктор: "Чего ж мумия как из египетского фараона?" "Правительство распорядилось," - говорю. А тот, видать, коммунист попался: "Мумия у нас одна," говорит - "Владимира Ильича. А я на вас заявлю куда надо." "А куда это?" "В какие надо орга-ны", - говорит.

- Да, много мы намаялись после войны, - вздыхает другая бабка. Оперлась о свою мумию и вздохнула. Тут они меня увидели и заулыбались и расплылись.

- Иди сюда, дочка, мы тебе про товар расскажем и недорого возьмем.

- Боюсь, у меня денег не хватит.

- Да что ты, дочка, можно и в рассрочку. Я бы своего индейца бы и за что не продала - всю бы жизнь на него до смерти любовалась бы и внукам оставила бы, ой , но сама знаешь, какое теперь время.

Другие бабки загудели-зажужжали

- Есть-то нечего, а внуков надо кормить.
- На хлеб нам денежки нужны, что ж мы своим мужьям предатели.
- Не такие уж мы сердитые вдовы...
- А я ему на палец золотое колечко одену, а ты, дочка, иностранка, колечко продашь и компьютер купиши.
- А как я его повезу.
- А возьмешь такси. А коробки у нас есть - из трехмиллиметровой фанеры, крепкие, с ватой для лучшей сохранности.
- И не пожалеешь. Он тебе квартиру украсить будет.
- Бери, бери, - снова загудели бабки.
- А не трухлявый он, ваш индеец?
- Да что ты, мы его в шестидесятом году починили накрепко. Теперь бы и для вашей Мюнхенской Пинакотеки сгодился бы.

Мне сын помогал отца укреплять. Он у меня ученый. В детстве-то после войны ковырял-ковырял родимого, ночами не спал - все исследовал - любопытный такой был мальчишка, а потом взял и на биолога выучился. А дети со двора все дивились. Во, повезло тебе, и откуда у тебя это мумия твоего папаши. А он гордый был - правительство распорядилось - так оно и стало. А все и завидовали. Вот возьмешь мумию, поставишь у серванта в гостиной - придут гости и тебе тоже завидовать будут.

- Бери лучше моего Андрея Петровича. Он у нас волшебный - всех лечит. Его батюшка освятил за десять рублей уже давно. Вот он и стал всем счастье приносить. Пришла ко мне как-то соседка - говорит - у нее рак же лудка, плачет горемычная. А я говорю - переночуй в комнате с нашим Андреем Петровичем - все как рукой снимет. И представь - все как рукой сняло. Бегает как коза, уже седьмой десяток, а коза. Она у меня все его выпрашивала, хотя бы пальчик его. Как в церкви будет реликвия - говорит, а сама сволочуга - неверующая. Ну тяжелые времена настали, черный день был - продала я ей пальчик, а он на меня и рассердился, что я ему палец-то отрезала. Я потом я как тяжело заболела. Меня дочка Катя выходила. А теперь Катюша умерла - и никого у меня кроме Андрея нету, а есть не на что, и расставаться с ним жаль. - Бабка обхватила мумию и зарыдала. Другие бросились ее успокаивать, мол, мумию-то испортишь, и на меня шикать.

- Ну чего стоишь пялишься. Или покупай или уходи, а то нам торговлю сглазишь. Я сплюнула три раза и поплелась к краю рынка, туда, где менее наглые бабки продавали только головы. Эти не столько кичились своим товаром. Да и головы не мужные были, а так - когда-то купленные по дешевке, или после войны, или посвежее - из Афганистана привезенные. Встречались и импортные товары - из Югославии.

Я подошла к одной из продавщиц. Она устроилась на деревянных ящиках и продавала женскую руку на дощечке, а на руке было сердце трудолюбиво вышито, а на сердце - крест, прямо на кисти.

- Купи ручку - говорит - ручка литовская, литовская ручка. Я ее сама мумифицировала, сама вышивала, она освященная. Дешево отдаю, дочка. Всего за пятнадцать долларов.

- Десять.

- За тринадцать.

Я купила у нее эту "литовскую ручку", хотя подозревала, что это все вранье и что руку она купила в одном из московских моргов или больниц. Так, за границу руку не вывезти. Таможня не пустит. Да и зачем она мне там, а здесь в Москве можно добroе дело сделать. Отнесу-ка я ее Насте. У нее в пятницу день рождения!

Меланхолики

Гробовщик смотрел на меня пристально серыми умными глазами, как смотрел бы он в могилу. Только на меня смотрел он не отрываясь, угрюмо пытаясь рассмотреть во мне признаки радости. А я и смотрела на него из моей внутренней могилы, понимая, что попал он по адресу.

- Некоторые женщины, - сказал гробовщик, - оскорбляются, как только заводишь разговоры о теле. Об их теле, - поправился он, и как бы взятыи, не мигая, продолжал, - а я вот много тел видел и не только молодых и еще красивых. Я видел тела и далеко перешагнувшие за возраст жизни.

Только этой зимой произошла удивительная история.

Обычно я раскапывал мерзлые сиротливые ямы, в которых было потерянно имя умершего. Мы свозим останки в общую яму, как мы шутливо называем, к Моцарту, то есть в братскую могилу. А ведь через каждые двадцать лет на кладбище ревизия - тут уж полное обновление - кто не внес взносы на несколько тысячелетий вперед - вылетает из места своего вечного упокоения, а так как нету на всех земли - приходится их сжигать. Дело государственное, как прополка огорода. Вот так многие от Страшного суда избавляются, ведь без праха переходишь под "Японию": у них вера, сама знаешь какая: душа после смерти экзамены сдает, переселяется в молодежь. А у нас, у христиан, точный счет: ко всякой душе одно тело прикрепляется. И хоть приходится нам избавлять страшный суд от работы, все-равно, к старикам яитаю уважение - труп, он чем давнее пролежал в земле - тем бережнее я к нему отношусь. Значит труп со стажем попался! - так мудрствовал гробовщик, то лукавя, то меня за пальцы трогая.

Когда я отодвинула пальцы, он погрустнел, будто туча над ним нависла, потом вспомнил что-то, пожевал спичку и отошел к окну, причесал пятерней волосы и весело обернулся и заговорил со смешками, быстро торжественно и громко.

- А вот в этом году как раз перед ревизией сменили директора кладбища - старый волчище пошел на пенсию, а нам по повышению - бывший зав. отделом супермаркета - эдакий яппи-бодрячок, бритый-умытый тонкасик. Собрал он всех наших кладбищенских и с ослепительной улыбкой срубил, что теперь кладбище сильно коммерциализируется и ставки по могилам удваиваются как в игорных заведениях. К тому же, при анализе данного рынка - маркетинге - пройдет переоборудование и некоторая перестройка и модернизация объекта.

По плану мне достался квадрат в юго-восточной части объекта, знаешь, под белой пирамидой, - он кивнул в сторону окна, - Тогда это был один из роскошнейших ск лепов.... - тут гробовщик задрожал голосом, ведь он уважал искусство и по причине работы был особенно близок к культуре.

- Может быть лучше тебе не рассказывать, - сказала я, все-таки пережитое - не из пуха.

Он слабо улыбнулся и закашлялся до слез и красноты, - я меня астма, - виновато сказал он приходя в себя, и улыбнулся на этот раз так нежно, - Я сына с собой часто на работу беру. Ему семь лет. Мы с ним одни, жены у меня нет, а он, знаешь, интересуется, о душе спрашивает. Но я не запугиваю ребенка страшным судом. Вот, - говорю, - посмотри, - трупы. Береги момент жизни, - говорю. За могилой - ночь. И он их не боится и растет без предрассудков. "Только, пап, противные они, - говорит, - и воняют." Гогочет и нос зажимает. Вот, какой у меня парень. Я немного отвлекся...

Гробовщик с удовольствием замял в пальцах землистый шарик гашиша, смешал его с остатками табака, скрутил косяк и с удовольствием затянул-ся. Он был большой, красивый, с мягкими руками и со свободным, пристальным ни к чему не обязывающим взглядом. Идеального вида подрезанный нордический нос украшал его иссиня-бледное лицо со слегка выдававшимся подбородком, квадрат которого приходился на копытце. Про глаза я уже говорила. Словом, спокойное мужское лихо. Меня подкупало то улыбчивое смущение, с которым он говорил о трупах, его деликатная боязнь не повредить чужие установки, и потому, прежде чем выдать свою истинную профессию, он долго говорил со мной об искусстве, стараясь прощупать мою лояльность. Потом я сама легко как обычно скатилась на разговоры о смерти и только после этого он сказал мне что соврал. И что никакой он не скульптор.

Его родители из глухой альгойской землянки были поистине религиозными людьми. До сих пор не разочаровавшись в гитлеровском фашизме, они спрятали его куда-то глубоко и тugo, под грудь, куда теперь уже по прошествии лет никто из новоскоренных демократов и не мог заглянуть. Спрятавшись под сенью деревенского прихода, они избежали вопросов о прошлом. Сына отдали подрабатывать при церкви, как только он чуть раздался в плечах. Были доволны им и горды, что поучаствовали во всем общем круге рождений и смерти не только бессознательным и беспомощным телом, но и практически.

Вот и все, что я знала о нем.

- Из могил, действительно неприятно пахнет, даже из очень старых. В нашем грунте стареют они и не скоро. Слой дерна защищает от летней жары. Все же, копать в зимние месяцы тоже приходится. Тогда тяжело. Земля - какбитое стекло. Вся тужится под тяжестью мороза, не дается. От усилия щеки отваливаются. Идешь с заступом на участок. Берешь с собой модернизированную лопату - эдакие клещи, чтобы перекусывать мягкие, заставшие в корнях кости.

И вот послал меня наш новый директор к этому старому склепу, в котором прошлым летом похоронили последнюю представительницу семейства.

ва, как нам тогда говорили. Но тут при новом директоре появляются дальние родственники, тоже заботящиеся об упокое их тел, показывают бумаги на покупку склепа и директор приказывает мне очистить места для новых владельцев, то есть выкинуть стариков. Сунул архитектурный план склепа, номер мог. плиты и я, как обычно, отправляюсь туда, думая о других вещах. Думал я о том, как еще в детстве покупал воздушную кукурузу в лавке у тех, чьи камни придется сейчас вскрывать. Я представил себе весну, субботний вечер, томление детей в ожидании крестного хода на пасху. Эту женщину в белом - это стояло у меня в памяти, доставшейся из детства. Платье белое в черный горох. Точно помню тогда: стоит толпа, мужчины, женщины, радостные такие. Пахнет от них человечеством и во мне мальчик просыпается. А ближе всех стоит эта женщина в горох и ткань прямо чуть не лопается на ней. Губы красные, зубы веселые, кусучие! Улыбается нашему священнику. Когда я входил в склеп, мне даже представилось, что и хоронили ее в этом белом в черный горох платьи. Но мне никогда не приходило удостовериться в моей сентиментальной убежденности, что мертвцев хоронят в одеждах, в которых они когда-то были молоды.

Плита с этой славной женщиной остается справа, а я по плану должен вынуть ее дедушку и свести несчастного к "Моцарту". Я сбил мороженый цемент с краев плиты, отвалил ее, вынес из склепа и стал совать в темноту мою модернизированную лопату. Хруста обычного не было. Все же что-то вскрылось, с трудом перекусилось, на меня вылилась волна почти банного тепла посреди зимы. А вонища - сильнее обычного, словно тут слона склонили. В лопате у меня была половина тела в черном ситце в белый горох - как раз негатив того, о чем я теперь думал. Ну и отвратительное же было зрелище. Меня чуть не стошило. А ведь красивая была баба, как помню.

Бегу к директору. Сую ему рукавицей план - вы перепутали могилы. Директор вскакивает - Да я? Ни за что! Не может быть. План не я делал.... Словом, когда оказался директор со мной у склепа и увидел эту шутку в горох, с ним случился инфаркт - ведь он прежде галстуки продавал и трупы видел только свежие и загrimированные. Вот так я и стоял оцепенело с двумя трупами без поддержки руководства и моральной. И не было сил его спасать - все тело и так смерзлось. Он умер, а я тогда потерял работу, - вздохнул могильщик.

Я смеялась в нос, стараясь в замшевой полуутяме комнаты, освещенной лишь модной масляной лампой, не выдать своего ликующего веселья о том, что история меня не столько брезгливо потрясла, но взбодрила. Захотелось поскорее оказаться в нежных огромных лапах этого грустного

рассудительного человека. Он схватил меня за плечи, повалил набок, и наивно и громко как дикое животное олень засмеялся от счастья.